

Александр Эртель

Мои домочадцы



Александр Эртель
Мои домочадцы

«Public Domain»

1883

Эртель А. И.

Мои домочадцы / А. И. Эртель — «Public Domain», 1883

«Однажды все мои домочадцы собрались на канавке за хутором. Тут же, около них, поместился березовский мужичок Аким, который хотя и пришел за спешным делом (занять печеного хлеба на ужин), но тем не менее посиживал себе на канавке. Дело было летом...»

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

9

Александр Иванович Эртель

Мои домочадцы

Прежде всего опишу Семена.

Вообразите себе малорослого человека с длинными руками, бесцельно и беспомощно болтающимися по бокам, с небольшим ястребиным носиком, слегка искривленным на конце, и прямыми, белыми как лен волосами, с кроткими, вечно задумчивыми глазами и безмятежным выражением лица, крошечного и сморщенного в кулачок, – это и будет Семен.

Впрочем, настоящее его имя было не Семен, но об этом – после.

Был он у меня не простым работником, но, по мере надобности, и старостой, и ключником. Первую из этих обязанностей, – обязанность старосты, – нес он плохо. Вы могли бы целый день следить за работами, где находится Семен в качестве начальника, и целый день не услышали бы его голоса, и это даже тогда, если рабочие были неисправны. Обыкновенно Семен, заметив какую-либо неисправность в работе, тотчас же брал в руки метлу или лопату, или другое соответствующее орудие, и, вместо того чтоб приказывать, кропотливо возился, заглаживая эту неисправность своими руками. Но бывали и такие работы, в которых невозможно было вступаться самому (например пахота) и самому исправлять упущение, происшедшее от лени или недосмотра рабочих. Тогда Семен, после долгих колебаний, подходил к самому носу неисправного работника и втихомолку просил его «как ни можно стараться».

Вообще не по душе ему была должность старосты, и если он с грехом пополам сносил ее, то лишь благодаря тому, что я и не требовал от него большего усердия, а только рассчитывал на одну его, действительно замечательную, честность.

Но обязанность ключника нес он с любовью. Весною по целым дням, бывало, возится в прохладном амбаре: там подметет, там законопатит пол, там подмажет его глиною. Придет лето – еще больше хлопот. Нужно принимать хлеб с тока, нужно отпускать его на грохота, а с грохотов снова принимать и пропускать на сортировку... Тогда ключнику много работы. И отпуск и приемка требуют счета и меры. И вот Семен с неукоснительным вниманием чертит стены закровов кабалистическими знаками, означающими воза, четверти, пуды, и является ко мне вечером с целой охапкою бирок. Кроме счета, есть и еще занятие: после каждого воза чисто-начисто подметать коридор, отгребать зерно в закрове и гонять из амбара голубей, то и дело влетающих туда поживиться обильным кормом. Осенью, а иногда и зимою, тоже большие и приятные хлопоты Семену: отпуск хлеба купцам, наблюдение за весами, зашивание кулей и, опять-таки, начертание кабалистических знаков.

В амбаре он чувствовал себя дома: говорил громко, двигался смело, делал все без колебаний и раздумываний. Но все это заменялось полнейшею нерешительностью, когда Семену приходилось вылезать из амбара на свет божий и идти на ток наблюдать за молотьбою. Надо было видеть его в ту минуту, когда к нему подходили и спрашивали: не пора ли стряпать, не довольно ли уж чисто вымолочено? Он терялся, мямлил, с нерешительностью мял в руках солому и рассматривал колосики, и в конце концов выражал свою волю таким неопределенным и сконфуженным лепетом, что молотильщики безнадежно махали на него рукою и уж руководились в своих действиях собственно своею совестью. Если они решали «стряпать» – Семен не противоречил, но с тоскою ходил по току и тогда лишь забывался, когда попадались ему под руки грабли. Тогда он старательно перетрясал ту солому, в которой ему думалось найти зерно, каждый плохо перемятый колос тщательно и со вздохом обивал о ручку грабель и вообще по мере возможности старался наверстать кажущееся упущение.

Кроме молотьбы (молотьбу я подразумеваю – цепами и телегами, но не машиной), особенно ненавидел Семен полку. Иметь дело с несколькими десятками баб и девок, обыкновенно склонных к насмешкам над начальником и вообще к озорству и непослушанию, было для него

сущим наказанием, и случалось даже так, что когда неизбежно приходилось идти на полку, у Семена внезапно «схватывало» живот, и он с страшными стонами залезал на печку, с которой сходил уже тогда, когда опасность проходила и надобности в нем совершенно не оказывалось. Эта конфузливость выражалась в нем только в роли начальника, старосты. В остальное время он если и не был чересчур разбитным человеком, то и не смотрел растерянным.

Впрочем, надо добавить, что вообще компании он не любил, а если уж приходилось быть в народе, то больше отмалчивался и слушал, на вопросы отвечал односложно и, при первом благоприятном случае, удалялся куда-нибудь в глухой уголок хутора, где либо посиживал себе одиноко, либо копался над какой-нибудь работой. С особенным старанием избегал он разговоров шумных и ругани, безучастно выслушивал строго деловые; но если заходила речь о каких-нибудь отвлеченных материях или рассказывалась сказка – он любил послушать, а когда предмет уже чересчур увлекал его, то и сам пускался в рассуждения, обыкновенно краткие и простые, но всегда высказанные не на ветер, а с убеждением и, что называется, от души. Чувствовалось, что рассуждения эти, на первый раз как будто и избитые, – не заимствованы и не унаследованы с тупой машинальностью от отцов и дедов, а выработаны и добыты самостоятельной мыслью.

Отличительной чертой Семенова характера было смирение и какое-то невозмутимое спокойствие духа. Исключив те случаи, о которых я уже говорил выше, вы не подметили бы на его лице следов каких-либо волнений житейских, горя, тоски, скуки и т. п. Лицо его было всегда безмятежно и кротко, взгляд – ясен и тих, движения – плавно-медлительны, речь – нетороплива и проста. А между тем, претерпел он столько, что, кажется, сам дивно терпеливый Иов^[1] опешил бы. Судите сами. Была у Семена большая семья, имелось порядочное хозяйство, и даже водились две кладушки старого хлеба, что, как известно, служит уж доказательством почти богатства (разумеется, крестьянского). Семья не знала, что такое «недоимка», «неотработка», «голодуха» и тому подобные неизбежности крестьянской жизни. Но все это сразу рухнуло и рассыпалось прахом. . . В семидесятом году свирепствовала холера: из Семеновой избы в одну неделю вынесли пять гробов. Остались в живых Семен с женою да их сынишка, мальчик пяти лет. В семьдесят первом году попрел весь хлеб в поле, а какой успели свезть на гумно – погнил и пророс на гумне. У Семена он попрел в поле. В семьдесят втором году, в одно летнее и, по обыкновению, прекрасное утро, к Семену в избу принесли мальчика с проломленным черепом и разбитой ключицей: был в ночном, скакал на лошади (это семилеток-то!) и упал. История не редкая. Не успели похоронить не в меру шустрого мальчугана и не успела мать, убитая горем, оправиться от «сполоху», выразившегося нервным трясением головы и частыми истерическими криками, случился пожар: «баловались» конокрады односельцы, приговоренные «миром» к высылке в Сибирь. Семеново хозяйство сгорело дотла. Семен все крепился. Путем каких-то нечеловеческих усилий сбил он денег на избу и уж поставил ее: «Только бы жить!», по его выражению, но тут судьба уж окончательно его подкузьмила: жена тосковала, тосковала да и сбежала к купеческому приказчику. Тогда Семен собрал «старичков» и торжественно отказался от земли, которую находчивые «старички» тут же, на сходке, и пропили ценовальнику на три года.

И, несмотря на все это, Семен сохранил безмятежность духа необыкновенную. Часто я задавал себе вопрос: что противопоставляет этот утлый человек своей беспощадно суровой доле? Откуда у него эта беспечальная улыбка, эта мягкая светлость взгляда? – и не мог решить этого вопроса.

[1] «...дивно терпеливый Иов...» – мифический праведник Иов, терпеливо перенесший все ниспосланные ему испытания. Его именем названа одна из книг библии; основная ее идея – необходимость покоряться судьбе, ниспосылаемой богом человеку.

Он носил свое горе в себе, тихо и бережно, и не любил делиться им с людьми, не любил толковать о нем, подобно многим горемыкам, которые и самое горе-то свое забывают в пылу жалоб и сетований. Но если ему неизбежно приходилось говорить с вами о своих напастях, – безмятежность не покидала его, и вы не могли бы заметить в его голосе ни капли горечи.

Мягкий и теплый тон его простой до наивности речи, его медлительные движения, полные какой-то важной значительности, его открытое лицо все это я бы назвал величавостью... Но, боже мой! – маленький, плугавенький мужичок с ястребиным носиком, желтой бородкой клинушкой и низким лбом, и... вдруг величавость!

Еще черта. Самое последнее, что занимало его в этом мире, – это собственная его особа. И если она его хоть сколько-нибудь занимала, то исключительно лишь потому, что интересы ее часто соприкасались с чужими интересами. Так, он был очень чистоплотен, но это совершенно не означало, чтобы он любил чистоту. Он сменял рубашку не потому, чтобы ему было приятно заменить ее свежей, а потому, что «люди осудят, если ходить в грязной». Рубашка – пример резкий, но таков он был во всем. Я могу представить любопытный случай, как нельзя более рекомендуемый его равнодушное отношение к своей особе. Нанялся он на хутор без меня. Когда я приехал, мне сказали, что нового работника зовут Семеном. Семеном я его и звал. Года три спустя получаю я за № 11475-м бумагу следующего содержания:

«Арендателю Батурину, Николаю Василичу.
От О-го волостного старшины.

Отношение.

Как мы слышаны, проживает на вашем на хуторе на Грязнуше (в скобках стояло: „на Вашего Высоко-Благородия!“) крестьянин Ксенофонтий, государственный крестьянин О-ой волости, богородицкого сельца, Турманов (в скобках повторено: „Ксенофонтий“), но как у нас есть правила на счет недоимщиков, чтоб не застаиваться недоимкам и чтоб отдавать в случае на заработки. И как у нас такие правила на счет недоимщиков, и мы покорнейше просим вас (в скобках опять было прибавлено „ваше высоко-благородие“, но на этот раз уж не с восклицательным, а вопросительным знаком), как мы слышаны про Ксенофонтия Турманова, государственного крестьянина села богородицкого... (Затем следовало несколько точек, а уж после точек явственно и крупно было начертано другою рукой) взыскать 7 руб. 41 ³/₄ коп. и немедля прислать».

Внизу было подписано страшно изломанным почерком (это уже третьим):

валасъноі сътыръшыня эфървмъ горъздкын

А пониже этой ужасной подписи бойко размахнулся и закрутил заливчатскими завитушками: «Исправляющий должность помощника волостного писаря, посельный писарь Калистрат Барабанщиков».

Не успел еще я вникнуть в смысл «отношения» о каком-то неведомом мне Ксенофонтии и налюбоваться образцовым слогом административной бумаги, как вошел Семен.

- Ты что, Семен?
- Да я насчет бумаги тут...
- Какой бумаги?
- А вот из волостной-то привезли.
- Да разве ты Ксенофонт?
- Семен слегка улыбнулся.
- Ксенофонт-то я, Ксенофонт...

– Вот чудак! С какой же ты стати Семеном-то зовешься?

Семен почесал затылок.

– Что ж, кабыть не все одно... Как ни назвал – все едино. Семен так Семен. Важности в этом мало.

Я развел руками, и с тех пор начал было называть Семена его настоящим именем, но так как оно чересчур хитро, то мало-помалу я и опять стал называть его по-прежнему, да и он на Семена откликался скорей, чем на Ксенофонта...

Семен не был привержен к церкви. Говел он в пять лет раз, у обедни бывал очень редко, попа уважал плохо, – одним словом, был в этом отношении как и все мы, грешные. Этим я хочу сказать, что нравственные его понятия, как бы на первый раз ни казались построенными на евангельском учении, которое он, как человек неграмотный, мог слышать только из уст дьяконских, – в сущности сложились совершенно независимо от церкви. Почва была в собственной личности его, мягкой и кроткой, верно дала жизнь путем бесчисленных и якобы убедительных примеров, из которых следовало, что необходимо одно — *терпеть*, ибо ничего не поделаешь... И вот из этого-то зерна, соединенного с такою-то почвою, и вырос диковинный и, кажется, чисто русский цветок – «смиренномудрие». Говорю, церковь тут была ни при чем. Впрочем, если хотите, она дала Семену терминологию: бог, грех, терпение и тому подобные слова часто встречались на языке Семена.

Но пусть не подумают, что Семен, с равнодушием относясь к церкви, относился к ней и критически и вообще не был религиозным. О, это не было так. Он был религиозен, но его религиозные понятия как-то двоились. Одни были унаследованы им от среды и приняты на веру, как нечто несомненное и необходимое, но ничуть не интересное и даже как бы постороннее. Другие, смутные и неопределенные, почти бессознательно назревшие где-то там, в глубине души, но очень важные и, главное, – живые. Все формальное, наружное и, наконец, даже и важное, но воплощенное в обряды, – все это относилось к первым. Все таинственное, недосыгаемое, но величественное и могучее принадлежало к другим. У него был бог, которого он не мог объять своею мыслью, к которому он даже не мог приблизиться, но, что несомненно, ощущал его в себе, а может быть, им одним лишь и жил. Я не стану уверять, что бог этот был строго *православный бог*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания